

15 января 1926 года в берлинской газете «Die literarisch Welt» И. Г. Эренбург опубликовал посвященную гибели Есенина статью. Другой отклик на смерть Есенина он хотел напечатать на Родине. Об этом свидетельствует письмо (хранится в рукописном отделе Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде) М. Руаффа и Е. Полонской от 30 января 1926 года. В нем говорится: «Многоуважаемая Елизавета Григорьевна, по просьбе Ильи Григорьевича пересылаю Вам прилагаемую статью «Смерть Есенина». Много лет спустя Е. Г. Полонская сдала эти материалы в архив, написав на полях рукописи И. Эренбурга: «Нигде напечатано не было».

Илья ЭРЕНБУРГ

СМЕРТЬ ЕСЕНИНА

ХОД ДНЕЙ, это универсальное налаживание, дипломатические совещания, служебные надбавки, награды, болезни, шашни, был прерван. Декабрьское утро, нудное и служилое, с его подозрительным копошением мыслей и форм показало всем обыкновеннейшую петлю. В паршивом номере гостиницы, среди прокатных вещей и прокатных душ мертвый поэт еще раз призвал к ответу многое и многих. Трудно совместить со смертью волосы Есенина, волосы слишком нежные, как бы созданные для женского любования и для мифологических образов. Нумерованная комната. В ней не было солнца, в ней не было даже склянки чернил. А вокруг — мороз, глухота и традиционный сон статистических миллионов.

Так, пока чертились великолепные схемы, пока фантасты, воля и голод скрипели страницами истории, тяжело и угрюмо горела «деревянная Русь», горела подожженная исконной стихией самоистребления, как изба пьяного бобыля и как тела двуперстных изуверов. Что скрывать? Недаром даются такие годы. Их оплачивают цифрами так называемого «населения». Их оплатили и жизнью поэта.

Он был со всеми в те памятные времена, когда еще не было ни витрин Кузнецкого, ни посольских фраков, когда красноармейцы уносили на фронт краюху кислого хлеба, простодушную веру и стихи общего баловня, белокурого мальчика, грозившего разломать земной шар, «как калач», и тихо плававшего над обиженной собакой. Потом...

Впрочем, все знают, что было потом. Чужим он вернулся в родные места. Чужим бродил среди деревенских комсомольцев и среди пристроившихся «спецов». Его обвинили в «непонимании исторического процесса», как будто тот, кто жил в воскресенье, обязан жить и в понедельник. Не подчинены общим законам жизнь государства и жизнь поэта. Те, кто шел на смерть со стихами Есенина, давно забыли и стихи, и смерть. Он не забыл.

Он называл себя «последним поэтом деревни». Крестьянство только поднимает у нас голову. Но деревня классической литературы, деревня, ютившаяся рядом с усадьбой, чья лирическая темнота и ка-

бацкое отчаяние — неотделимая часть высокой дворянской культуры прошлого века, эта деревня умерла, нагло и трогательно, среди пылающих поместий, среди вековых мятежей и дешевых чудес. Пуды хлеба обращались в детские слезы и в роковой самогон. Здесь, в этих болотах, как большая река, начинался Есенин.

Хорошо было какому-нибудь Верхарну описывать гибель деревни: он не хлебал сивухи и не плакал. Стекла пенсне прикрывали глаза цвета стали и цвета дыма. У Верхарна были и письменный стол, и мировая литература. А Есенин... Не лежало ли очарование этого неисправимого мальчика в его отдалении от профессионального мира? Он купил в Берлине перо «Ваттермана» и рассмеялся. Он был птицей. Он был также живым человеком. Кругом «имажинисты» заготавливали стихотворный товар, социологи определяли смысл происходящего, а Есенин, живой, как солнечный зайчик, умирал, умирал публично и вполыхал, на московских бульварах и в «Стоиле Пегаса», читал стихи, бродил среди сугробов окраин и детскими голубыми глазами пугал встречные портфели.

«Хорошо им стоять и смотреть»...

Вы помните эти глаза? Здесь трагедия не только эпохи — породы. Возраст человечества диктовал унылую поножовщину и диаграммы отчаяния. Какой же трогательной девушкой, провинциальной и задушевной, какой звездой над электрическим заревом города вошла в наши дни поэзия Есенина! Ее любили в грубое время грубые люди, любили за обреченность и за неумелость, любили, как любят иного ребенка, над которым уже сказано «нежный» или иное короткое и неповторимое слово.

Я не знаю, что напишут грядущие словесники об этой поэзии. Меняются вкусы и оценки. Суд истории не справедливой обыкновенного суда. Одного у Есенина уже никто отнять не сможет — любви современников, любви, на которой сходи-

лись все: поэты и красноармейцы, профессора и рабфаковцы. Его любила революция, и его любила Россия.

Говорить ли о духовной бескорыстности, о высокой непосредственности «странного» человека или об этом уже сказала смерть? Да, он написал, столь часто цитировавшиеся, строчки о цилиндре и о лакированных башмаках. На проклятую статую «Свободы» нью-йоркского морга полетел еще один мотылек. Но не этими огнями можно было купить душу поэта. Он утром выбирал в модных лавках Парижа шелко-

номер в гостинице «Англетер». Он не дорожил ни домом, ни именем, ни людьми, ни собой. Конечно, государство строит иначе, иначе живут миллионы. Но не будь этого мотовства, этого шатанья по миру, кустарной, полудикарской тоски, не было бы и поэзии.

К свободе ринулись слабые руки. Тяготила ли его только зримая тюрьма — быта и навыков, окостеневших жестов, повторности дел? Или иной была несвобода? «Засосал меня песенный плен...» Нет, не поймут читатели, эти исследователи ямба или же ревнители «партиинии», как даются писателю книги, сколько здесь отторжения от живой жизни, сколько безысходной условности, соленого животного горя, великодушно перерабатываемого в образы и звуки!

Тело Есенина обнесли трижды вокруг бронзового изваяния Пушкина. Окаменевший поэт немало видел на своем веку — детские игры под деревьями бульвара и лужи крови Страстной площади. Он увидел теперь своего мертвого наследника, как и он, замученного условностью жизни, равнодушием людей, звериным климатом любимого Отечества.

Как не сказать здесь — жестокая земля! Хоронить у нас умеют хорошо. Нигде так не хоронят. Небогатый культурой край — вряд ли в нем наберется несколько десятков подлинных писателей, — он бережно хранит в музеях автографы, он переиздает классиков на веленовой бумаге, он засыпает очередную могилу венками и патетическими некрологами, но живых, живых он окружает только улюлюканьем газетных овчарок и безразличием одежде, как и тулупы, сердец. Так было искони. Многие переменилось, но не это. Виселицы, расстрел, тюрьма, ссылка, нищета, издевки общества, сословные и классовые предрассудки — все это испытывали на себе русские писатели. Листок со стихами Лермонтова на смерть поэта, ходивший из рук в руки, еще не стал историей. Когда Блок весной 21-го года читал в «Доме Печати» стихи, ему свистели: умирай! И не от свистевших ли мы услышали три месяца спустя, что Блок был «нашей гордостью и нашей любовью»? Это относится равно к людям разных времен и разных идей. Это относится к России. И, может быть, ни один русский писатель, прочитав короткую газетную заметку, протянул руки к своей шее, как бы ощущая на ней неумолимую петлю?.. Но нет, не об этом думали московские писатели в ночь на Новый год, стоявшие возле тела Есенина. Перед такой потерей отступает даже негодование. Остается горе — погреб поэт. Остается радость — выпадает на человеческую долю бесценное богатство, дар самой простой и самый непонятный, как голосовые связки певчей птицы, которая поет, потому что она родилась и потому что она умрет.

Публикация Т. ФЛОР-ЕСЕНИНОЙ



6 ИЮНЯ 1924 ГОДА, В ДЕНЬ 125-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА, ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗОВАЛ В МОСКВЕ ЧЕСТВОВАНИЕ ПАМЯТИ ПОЭТА. НА СНИМКЕ ИЗОБРАЖЕН ТОТ МОМЕНТ, КОГДА СЕРГЕЙ ЕСЕНИН ОТ ИМЕНИ СОЮЗА ВОЗЛАГАЕТ ВЕНОК К ПОДНОЖИЮ ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ.

Фото Р. КАРМЕНА из журнала «Всемирная иллюстрация» (№№ 3—4, 1924 г.).

вое белье, чтобы к вечеру выкидывать его. Он мечтал о славе. Слава легко далась ему. Она оказалась столь же жалкой и ненужной, как лакированные ботинки. Что же, он выбросил и славу. Он продолжал ей туман московских пивных и хмурый

заботы? Да ведь он «хулиган» и вообще «аморальный тип» — об этом забыли, что ли?

Тело поэта выставляется в Доме печати. А на решетке, ограждающей его, с улицы, прикрепляется огромное полотнище с беспрецедентной надписью: «Тело великого русского национального поэта Сергея Есенина покоится здесь». Еще и похоронить не успели, а уже — «великий»? К чему бы это, не слишком ли? Да еще и «русский»? И это в то время, когда само слово «русский» уже практически было изгнано из обновленного революционного «новояза»? Мало того, он еще и «национальный»? Что это? Ведь еще Маркс показал классовый характер общества. И для характеристики любого человека важна прежде всего не национальность, а классовая принадлежность, важно, к какому классу он принадлежит: к эксплуататорам или эксплуатируемым, к буржуазии или к пролетариату, к помещикам или крестьянам. Есенин — поэт крестьянский. Так при чем же тут «национальный»? И вообще получается, что он поэт «русский национальный», то есть принадлежащий к «русской нации»? Что, это понятие вытаснено, что ли, из эпохи Николая Романова?

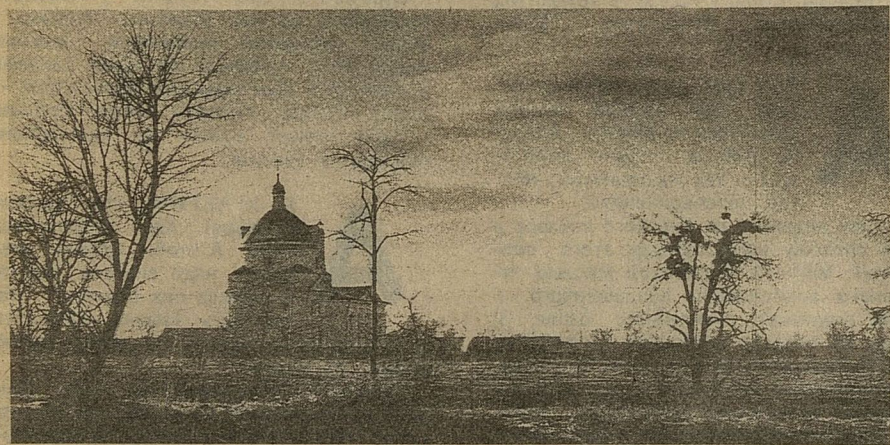
Ясно, что и сам факт прикрепления этого полотнища, и текст этой надписи были согласованы с властями. Далее — никаких помех для прощания с покойным (оцепление, пропуск). И самое удивительное — это похоронная процессия, этот трехкратный обнос гроба с телом поэта вокруг памятника Пушкину! Кто еще удивлялся такой чести, такого символического знака? Учет при этом, что подлинное значение Есенина как поэта в то время еще мало кто понимал. Ясно, что и процессия эта, и этот

обнос тоже не могли не быть согласованы с правительством. Если Есенин — самоубийца, то для чего правительству брать на себя все эти заботы, зачем подхватывать людской порыв и превращать похороны поэта в такое масштабное, из ряда вон выходящее событие, тем более, что его (правительство) об этом никто не просил, и тем более, что Есенин не был «придворным» поэтом?

Что же из этого следует? Следует, на мой взгляд, единственно возможное объяснение. Все эти «мероприятия» (которые Есенин, конечно же, был достоин) были необходимы правительству для того, чтобы «заткнуть» рот друзьям и родственникам поэта, которые знали (или догадывались), что никакого самоубийства не было. Всеми этими мероприятиями власти весьма недвусмысленно давали понять, что все сделано с их ведома и публичное выяснение истины нежелательно. Надо было глубоко и надолго внедрить в сознание народа версию о самоубийстве.

Неподдельная скорбь людей и поддельное, лживое и глумливое участие в этой скорби властей. Нет, очень «до него» им было.

И СЕЙЧАС он тоже кому-то мешает, всё хотят «подправить» его, принизить. Так, например, нас долго и упорно убеждают (и уже кого-то убедили), что мы не можем понять всей глубины «Злых заметок» Н. И. Бухарина, в которых-де он поносит



Демьяну Бедному обратились за помощью четыре друга-поэта (Есенин, Ильяков, Орешкин и Ганин), позвонив ему из отделения милиции после очередного «задержания» за «оскорбление» некоего Роткина. Влиятельный поэт, приближенный и высшим государственным кругам, с презрением им в помощи отказал (о чем, конечно, тут же было сообщено в газетах).

Да и происхождения Есенин был не пролетарского, а крестьянского — все время цеплялся за старую, «избяную», отжившую Русь. И хотя он принял Советскую власть, писал о Ленине и о Троцком, его творчество все же не было вполне «советским», слишком мало в нем было официоза, прославления новой, «рабоче-крестьянской» власти. Не был он придворным кремлевским поэтом. И власти, надо думать, имели о нем свое представление.

И вот Есенин погибает в Ленинграде. Учитывая все сказанное — какое дело до этого события правительству большевиков? Вот тут бы и спустить все «на

тормозах», и если властям не до него, если у них есть дела поважнее — то и ладно...

Однако «рабоче-крестьянское» правительство вмешивается. Почти все газеты по всей стране (!) (а они уже все стали изданиями партийными) помещают сообщение о его самоубийстве, некрологи (а ведь если бы было соответствующее указание — они бы помолчали). Тело поэта (явно по разрешению властей) перевозится в Москву. А ведь похоронить Есенина можно было бы и в Ленинграде во избежание лишнего шума (тем более, что его жизнь была связана с этим городом не менее, чем с Москвой), и если бы такое решение было принято, то никакие хлопоты друзей, родственников и его вдовы Софьи Андреевны Толстой не помогли бы. Расходы на похороны поэта государство относит на свой счет.

С чего бы это? Кто еще из умерших в те годы литераторов был удостоен такой